

Достоевский как центр литературного притяжения

Более всего мне не хотелось бы, чтобы это эссе походило на отчет о моих двадцати — за двадцать пять лет — написанных и напечатанных книгах. Скорее это рассказ о приключениях, которые были связаны с некоторыми из них. Ибо если работа над книгой не сопровождается ничем чрезвычайным, внезапным, неожиданным — есть опасность, что она не сможет задышать, вырваться наружу из тесной неволи черновигов и обрести печатный вид. Если на ловца (автора) не бежит зверь (счастливый случай), значит, ничто книге не помогает, неведомые силы не благоволят, чуткие стихии не ждут ее появления на свет.

Мой скромный опыт книжного авторства — это истории о том, как вдруг, неведомо откуда, появилось везение, начал дуть попутный ветер, иначе называемый фартом: что-то, чего не ждешь и о чем даже не мечтаешь, внезапно дается в руки, твоя утлая весельная лодка обретает парус, который ловит этот ветер, и ты ощущаешь, что вот теперь можно смело пускаться в плавание. Главное, как сказал поэт, нужно знать, «куда ж нам плыть».

Мое плавание и началось тогда, когда я смогла ответить себе на этот вопрос.

1

Теперь уже понятно, что главная, пожизненная тема многих моих книг — Достоевский — появилась в студенческие годы по воле случая и полностью зависела от литературного вкуса руководителя курса, Олега Николаевича Осмоловского. Стыдно признаться, но даже имени великого русского писателя я, живя в украинском областном городе, к своим два-

дцати годам толком не слышала: в школе его не изучали, на уроках не называли, дома о нем не говорили. Однако на втором курсе филфака русского отделения студентам полагалось писать курсовую работу сравнительно-типологического свойства: нужно было сопоставить сходные — по сюжету, коллизиям, героям — произведения двух разных писателей. Я имела слабость к тургеневским девушкам — чистым, безответным, почти всегда несчастным, и мой преподаватель, уважая это обстоятельство, предложил мне сравнить тургеневскую «Асю» с «Неточкой Незвановой» Достоевского. С «Асей» (как и с «русским человеком на randevу») мне в общих чертах всё было ясно, но Достоевского надо было осваивать с нуля — ограничиться одной только повестью было бы просто неприлично. Удалось купить у букинистов десятитомник 1956 года и начать с «Бедных людей».

Когда через несколько месяцев я вынырнула из десятого тома, едва оторвавшись от «Братьев Карамазовых», моя судьба была решена — и мой мир обрел точные литературные и человеческие координаты. Это было незабываемое впечатление: я встретила *своих*. Мужчины и женщины из десятитомника вызывали жгучий интерес и казались намного более горячими и живыми, чем те реальные люди, которых я до тех пор знала. Мне захотелось, если повезет, стать не чужой в этой книжной компании.

Желание наивное и самонадеянное, но игра стоила свеч...

В следующие четверть века, защитив две диссертации по Достоевскому, я внезапно осмелела, вышла за рамки академического стандарта и вырвалась на волю свободного книгописательства. Пришлось осознать, что единица литературы — это книга, которую никто от тебя не ждет и уж точно никто тебе не заказывает: она не присутствует в планах издательств и ученых советов, и я не должна ни перед кем за нее отчитываться.

Я рискнула. В жизни Достоевского была женщина, которой он писал: «Друг вечный, Поленька». Женщина, которая одарила писателя мучительным опытом любви-ненависти и которая не пожелала стать его женой. Публикатор ее дневника «Годы близости с Достоевским» (М., 1928), А. С. Долинин, писал: «Два больших человека — Достоевский и в известном отношении ему конгениальный В. В. Розанов, — так близко к ней подошедшие, имели, должно быть, свои основания, чтобы оставить под густым покровом тайны ту роль, которую она играла в их жизни, и даже отраженно она до сих пор еще никого не интересовала, и никто не собирал сведений о ней».¹

Достоевский, уже расставшись с Сусловой, писал о своей непреходящей, мучительной любви к ней; Розанов говорил о мистической к ней при-

¹ См.: Долинин А. С. Достоевский и Суслова // Достоевский: Статьи и материалы / Под ред. А. С. Долинина. Л., 1925. Сб. 2. С. 170.

вязанности. Авторитетнейшие его друзья и знакомые, среди которых были Зинаида Гиппиус и Любовь Достоевская, дочь писателя, оклеветали ее, поставили на ней, уже пожилой женщине, несмываемое клеймо, назвав ее исчадием ада, развалиной со злыми глазами, сумасшедшей старухой.

Хотелось понять мотивы ее поступков, характер ее страстей, защитить ее.

— Кем она ему была? — напрямик спросил меня издатель, имея в виду Достоевского, когда в порыве откровенности я выдала ему свою литературную мечту.

Мне не хотелось обозначать «друга вечного» ни конкретным термином «любовница», ни приблизительным словом «подруга». На всякий случай, боясь спугнуть хозяина положения и смягчая ситуацию, я употребила романтически неопределенное понятие «возлюбленная».

— Идет. Так и назовем книгу: «Возлюбленная Достоевского». Пусть каждый вкладывает в название тот смысл, который ему более близок.

Еле-еле я выпросила разрешение на некоммерческий подзаголовок: «Аполлинария Сулова: биография в документах, письмах, материалах». Оставалось раздобыть всё это богатство — в противном случае имеющихся материалов хватило бы лишь на небольшой очерк.

Я знала, где надо искать необходимое: ЦГАЛИ, Центральный государственный архив литературы и искусства (теперь РГАЛИ), хранил сокровища: переписку Аполлинарии Суловой с ее старшей многолетней подругой графиней Е. В. Салиас де Турнемир (литературный псевдоним — Евгения Тур), письма В. В. Розанова и многое другое. Однако все попытки получить необходимые материалы были тщетны: раз за разом мне отвечали, что бумаги в работе, или на копировании, или микрофильмировании, или находятся в пользовании у других читателей. Шли дни и недели, а дело стояло на месте. Я пробавлялась второстепенной мелочью, которая, конечно, могла пригодиться, но только в том случае, если охота на крупную дичь даст результат.

Не знаю, что было бы с моей затеей, если бы не случай из совсем другой оперы.

Меня пригласили на прямой эфир телепередачи, в которой обсуждались книга Ст. С. Говорухина «Великая криминальная революция» и его фильм с тем же названием. Собралось человек сорок журналистов, которых автор, в ответ на их тяжелые высказывания, позднее назовет «псами демократии». Эфир был жарким, если не сказать скандальным. Автор утверждал, что криминальная революция завершилась полной победой жуликов, а великая духовная страна на глазах превратилась в страну воров и негодяев. Участники обсуждения в один голос опровергали пафос книги и изложенные в фильме факты: «Нет никакой криминальной революции. Бесстыдная клевета. Хула на правление президента Ельцина».

Говорухина закричали, затопали, заулюлюкали, но он не сдавался, горячо и страстно отстаивая свое восприятие «прекрасной эпохи». Эфир превращался в поругание режиссера, его открыто шельмовали и оскорбляли. Это было некрасиво и несправедливо. Я дерзнула подать голос в его защиту, а также в поддержку книги и фильма, поперек журналистского хора: «Разве в стране нет криминала? Нет разгула бандитов и воров, которые тащат всё, что плохо и даже что хорошо лежит? Короче, Сатана там правит бал, люди гибнут за металл...».

Что-то в этом роде. Хор посмотрел на меня не то с досадой, не то с презрительным недоумением, да я и сама никакого значения своему одинокому голосу не придавала, просто стало очень противно.

Прошло всего два дня, когда я вновь попыталась получить в архиве ускользающие от меня бумаги. Ждала отказов. Готовилась выслушать новую порцию объяснений по их поводу. Но меня ожидал сюрприз.

С видом самым загадочным, за которым мелькнула улыбка, меня зავала в служебную комнату сотрудница архива.

— Подождите здесь.

Вскоре она вернулась, держа в руках круглый алюминиевый поднос, на котором высилась стопка папок с надписью «Дело» и пирамидка из коробочек с микрофильмами.

— Это вам за Говорухина. Спасибо, что защитили его. Не оставили в полном одиночестве.

Я совсем не считала, что моя защита была хоть сколько-нибудь значимой, но, видимо, прямой эфир представил мой незатейливый монолог как нечто смелое и вызывающее.

На алюминиевом подносе лежало то, чего я безуспешно добивалась несколько недель, получая неизменные отказы.

— У Вас есть месяц. Потом придет из Колумбийского университета дама, которая собирается писать книгу о русских суфражистках 1860-х годов. Этот архив она заказала на свое имя, с просьбой держать его до тех пор, пока не освоит. Не выдавайте меня. В конце концов, Вы ведь могли познакомиться с материалами по Сусловой прежде, чем американка их заказала.

Месяца мне хватило. Связь между моим телевизионным выступлением о книге Говорухина и архивом Сусловой можно было объяснить только общим воспаленным состоянием умов: шел 1994 год, разброд и шатание в обществе достигли, кажется, своего максимума. «Сподвижники Ельцина, ругавшие Говорухина, конечно, будут против критики его режима», — взволнованно говорила сотрудница архива.

С девяти утра (когда открывался архив) до пяти вечера (когда он закрывался) я просиживала за переписыванием бумаг, разбирая непростые почерки, соблюдая орфографию и пунктуацию оригиналов. Вечером дома перепечатывала письма на машинке, назавтра приносила их в ар-

хив для сверки и переписывала следующие. Если и были в те поры у кого-нибудь ноутбуки, то в архив с ними всё равно не пускали.

Трудность почерков моих подопечных (графиня Елизавета Васильевна забывала об интервалах между словами и могла написать, например, так: «вчтобытони сталоонъхотельзнять») оказалась мне как раз на руку — когда моя книга уже печаталась в типографии, я встретила с той самой американской исследовательницей, которая получила архив в пользование после меня; она пожаловалась, что так и не смогла прочесть письма «этих женщин».

А моя «Аполлинария Сулова...» (два цвета, разные шрифты, большой формат, 456 страниц, твердый переплет, суперобложка с фотографией красавицы Аполлинии Прокофьевны под кружевным зонтиком) была сделана от начала до конца за 142 дня. Около ста писем, опубликованных впервые, шестьдесят фотоиллюстраций (в том числе полученных от московских коллекционеров и предоставленных специально для этой книги), а главное — история страстных романов Суловой с Достоевским и Розановым (а с Розановым — еще и драматическое замужество, закончившееся скандальным разрывом) привлекли многих читателей. Книга побывала на книжных ярмарках Москвы, Франкфурта и Иерусалима, режиссер С. Л. Шумаков снял о ней телевизионный фильм, в котором я была автором и ведущей (эфир Первого канала прошел сразу после программы «Время»), было сделано несколько радиопередач, проведено множество встреч в библиотеках и клубах.

Тираж 5000 экземпляров (немаленький для 1994 года) был распродан мгновенно, то есть в течение месяца. Фразу, услышанную в ЦГАЛИ: «Это вам за Говорухина», — я запомнила на всю жизнь и более чем когда-либо оценила классическое: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется...».

2

В 1996 году вышла моя книга «Федор Достоевский. Одоление демонов». В центре сюжета была история отношений Достоевского с Николаем Александровичем Спешневым, которые начались в конце 1848 года в кружке петрашевцев, развивались чрезвычайно бурно, так что молодой писатель, автор «Бедных людей» и «Двойника», имел все основания назвать своего нового знакомого «мой Мефистофель», сказать о нем: «Я с ним и его», а двадцать лет спустя использовать черты этого выдающегося петрашевца (демонического красавца, богача, аристократа, «коммуниста») для образа Николая Ставрогина в романе «Бесы».

Хорошо известно, насколько вообще бесправен прототип. Нет таких законов, по которым воспрещалось бы для литературных целей брать

напрокат чужую душу, плоть и кровь. Нет и таких охранных грамот, которые уберегали бы частного человека от сомнительной участи явиться прототипом какого-либо литературного героя — то есть жалким рабом чужой игры без правил. А жизнь, в отличие от художественной литературы, — это индивидуальное приключение. Здесь каждый смеет претендовать на центральную роль, а, значит, и на собственную версию своей судьбы. С другой стороны, художник, создавая литературный образ, никому не подотчетен; романый вымысел — это не мемуары, где намеренное искажение реальной личности есть очернительство и клевета. Так что, публикуя в начале 1870-х годов роман «Бесы», Достоевский менее всего должен был опасаться, что его старый знакомый прочтет роман, всё поймет и оскорбится — как оскорбился, скажем, Тургенев, опознав себя в Кармазинове.

Позже я поняла, что версия о прототипе Ставрогина, связанная с именем Спешнева, и не могла появиться, пока были живы участники политической драмы 1849 года. Прочитав роман о бесах революционного подполья, они не могли увидеть сходства именно потому, что хорошо знали Спешнева. Реальная судьба Николая Александровича, при более близком с ней знакомстве, никак не укладывалась в рамки того человеческого типа, который был создан Достоевским для «Бесов». Пережив автора этого романа на год и два месяца, Спешнев ушел из жизни, не подозревая, что стал объектом специального внимания писателя, которого знал в молодости. И повторю: никто из современников Достоевского, читавших «Бесы», не опознал в Спешневе Ставрогина — интригующая версия появилась поколение спустя.

Неотвратимое желание отделить Спешнева (реальную личность) от Ставрогина, «великого грешника», inferнального героя «безмерной высоты», побудило меня написать о нем независимую книгу — не зависимую от личных впечатлений и творческих замыслов Достоевского; книгу, центром которой был он, помещик, красавец, западник, приговоренный к смертной казни как враг российского государства и всемогущего монарха.

Началась погоня за подлинностью, в обход гениального вымысла. Опять надо было собирать письма, материалы, документы. Вполне ожидаемо — благодаря коллегам из Иркутска — был получен огромный эпистолярный архив: письма Спешнева к его родителям, родственникам, прошения по начальству, — всего 90 единиц хранения, сохраненные его матерью, Анной Сергеевной Спешневой, и переданные его внучкой, оперной певицей Юлией Алексеевной Спешневой, в Литературный музей в 1933 году, откуда в 1962 году они переехали в Иркутск. Архивисты Иркутска повели себя в высшей степени благородно и профессионально: скопировали для меня письма, сохранив формат бумаги и расположение текста — так, как это было в оригиналах.

Однако, получив объемную бандероль на почте и раскрыв ее дома, я с ужасом обнаружила, что добрая половина корреспонденции была написана на французском языке, которого я не знала.

«*Mon adorable papa et mon adorable maman*» («Мой обожаемый папенька и моя обожаемая маменька»), — писал на хорошем французском Nicolas, принятый в Царскосельский лицей. Я набирала на компьютере одно рукописное послание за другим, параллельно изучая французскую грамматику и орфографию. Между 1835 годом, которым датировалось первое письмо четырнадцатилетнего подростка, и 1882 годом, датой последнего известного письма шестидесятилетнего мужчины, пролегло почти полвека — по сути, вся взрослая жизнь моего героя. За год, пока я обрабатывала иркутский архив и изучала французский язык, я научилась замечать неверные написания не только в своих записях, но и в письмах моего героя — ошибки всё же встречались, особенно в его ранние годы.

После того как все 90 документов были прочитаны, переписаны, переведены на русский язык и прокомментированы, а также после того, как были освоены документы из ГАРФа (Государственного архива Российской Федерации) — рукописи Спешнева, переписка канцелярий в отношении этого осужденного в каторгу петрашевца, — я полагала, что всех добытых материалов мне хватит для книги.

Но как только я сказала себе «стоп» — пора, дескать, начинать писать (в книге будет десять глав, а также предисловие, эпилог и три приложения — публикация архивных материалов), — случилось неожиданное и непредвиденное.

Спустившись как-то утром на лифте за почтой, я вынула из ящика продолговатый конверт «авиа» со штампом Филадельфии (США): мой адрес по-английски, на месте обратного — белая полоска с набранным на компьютере именем отправителя: Гали Николаевна Спешнева-Бодде.

К тому времени я уже поняла, что роковое обаяние Ставрогина выглядит неуместным в свете подлинной биографии его возможного прообраза, а магия сходства героя и прототипа совершенно утрачивает свое волшебство, как только соприкасаешься с реальной жизненной драмой загадочного и обаятельного петрашевца. Когда же осенью 1997 года я получила письмо из Филадельфии, вскрыла его и ознакомилась с его содержанием, проблема Спешнев — Ставрогин отошла на задний план. Получалось, что Достоевский (сколь бы гениальным ни был образ Ставрогина) художественно «оклеветал» его реального прототипа. Но, повторяю, кто же и когда заботится о бесправном солдате из армии прототипов?

...Мне писала девяностосемилетняя правнучка Спешнева, жившая в США, которая сумела найти мой домашний адрес через своих петербургских знакомых: они и переслали ей в Филадельфию мое крохотное

интервью в одной из московских газет — о том, что готовится биографическая книга о Спешневе, государственном преступнике царских времен. «Мои друзья сообщили мне, что писательница из Москвы пишет книгу о некоем Спешневе. Скажите, пожалуйста, не о моем ли прадеде идет речь — петрашевце, каторжанине? Если о нем, то у меня хранится семейный архив на русском и на английском языках. Я уже очень старая и хочу передать наши семейные бумаги в верные руки для пользы дела».

Я ощутила ту самую, уже не однажды испытанную, тревожную радость — удача неожиданно-негаданно сама плыла ко мне в руки.

Завязалась переписка. Семейный архив из Филадельфии, который я вскоре благополучно получила, дал мне ценнейшие сведения об истории рода, о личности отца Спешнева, Александра Николаевича, который, как оказалось, куда больше, чем его сын, был похож — и буйным нравом, и взрывным поведением — на Николая Ставрогина. Быть может, Достоевский, сблизившись со «своим Мефистофелем», смог поделиться с ним своей бедой (их отцы погибли в своих имениях при сходных загадочных обстоятельствах) и узнать про беду, случившуюся со Спешневым-старшим. Всё это были волнующие догадки, предположения, даже фантазии...

Филадельфийские записки расширили горизонты книги, дали ей новое дыхание, наполнили воздухом ушедшей эпохи. Гали Николаевна благословила меня на книгу о своем прадеде, имела терпение и время письменно и без промедления отвечать на мои многочисленные вопросы и снабдила меня уникальными материалами. Она в свои почти сто лет уже не могла читать и писать самостоятельно, совсем плохо видела, так что наша переписка осуществлялась при посредничестве ее супруга, американского востоковеда-китаиста Дерка Бодде. Гали Николаевна успела получить мою книгу, на обложке которой красовался старинный овальный портрет ее прадеда; и, насколько мне известно, все 536 страниц ей, уже совсем слепой, прочитал вслух взрослый внук, который вскоре сообщил мне о смерти своей бабушки.

Эту историю можно было бы считать законченной, если бы не случай, произошедший три года спустя после выхода книги. Она, как я убедилась позже, жила отдельной от меня жизнью, ее читали не только обычные читатели, но и люди, носившие фамилию, стоявшую на обложке: «Николай Спешнев. Несбывшаяся судьба». Потомки двух сыновей Николая Александровича проживали в разных городах страны, многие из них не знали о существовании друг друга, иные полагали, что родственников им Спешневых уже нет на свете. За три года они списались, выяснили, кто кому кем приходится, и приняли решение.

И вот однажды в мою дверь позвонил молодой человек, назвавшийся Всеволодом Спешневым, — книжный дизайнер, живущий в Москве. Он был так похож на знакомые мне портреты своего знаменитого предка,

что я только ахнула. А он, широко улыбаясь, сообщил, что все Спешневые, которые имеются в наличии — московские, петербургские, пятигорские, курганские и другие, — собрались вместе в Москве и хотят со мной встретиться. Моя книга их соединила.

Радостное и благодарное общение вышло незабываемым. Потомки моего героя (их в одной из московских квартир собралось человек двадцать) подарили мне редчайшую фотографию женского портрета из частной коллекции, который я долго искала в каталогах, справочниках и энциклопедиях, но так и не смогла найти. Это было воспроизведение портрета красавицы-польки Анны Феликсовны Савельевой-Цехановецкой: восемнадцатилетний Спешнев полюбил ее, замужнюю даму, отчаянно и самозабвенно, а она ради него оставила свой дом, мужа, двоих детей, сбежала с любимым, скиталась с ним по Европе (Гельсингфорс, Вена, Неаполь) и через четыре года покончила с собой в припадке ревности, сойдя с ума от роковой страсти. Спешнев считал, что эта женщина послана ему небом, боготворил ее, многим пожертвовал ради нее, но саму ее не уберег. Остались два маленьких сына, которых после ареста и во время десятилетней каторги отца воспитывала бабушка, Анна Сергеевна Спешнева.

Трагическая история любви на фоне процесса петрашевцев и реалий сибирской каторги, благородный герой, совсем не похожий на Мефистофеля, прекрасная полька, погибшая из-за любовной горячки, волшебный портрет героини, подаренный мне ее потомками. Всё это — материал для второго издания книги, если оно вдруг когда-нибудь состоится: и я отдаю себе отчет в том, что *вдруг* здесь — ключевое слово.

3

Окружение Достоевского — его «вечная» возлюбленная и его «демон-Мефистофель» — придали мне дерзости прикоснуться вольным пером к личности и биографии создателя «Бесов».

Но случилось это странным, обходным путем и далеко не сразу после книг о Сусловой и Спешневе. «Моего» Достоевского чудесным образом привел ко мне не кто иной, как А. И. Солженицын.

В начале 1995 года вернувшийся из изгнания Александр Исаевич, с которым мы прежде не были знакомы, позвонил мне домой, сказав: «Мы там Вас читали». К тому моменту успела выйти в свет только одна моя книга: «“Бесы” — роман-предупреждение» — размышления о романе Достоевского, тиражом 25 000 экземпляров. (Не могу не вспомнить о том, что книга собрала по подписке 50 000, но столько бумаги в издательстве «Советский писатель» для меня не нашлось, и мне предложили выбирать: или половину тиража сейчас, или весь тираж через год. «По-

ловину, но сегодня», — сказала я, не став жадничать. И была права: книга вышла в начале 1990 года, а через два месяца работа издательства остановилась, как тогда останавливалось многое.)

Я стала часто общаться с Солженицыным, была приглашена участвовать в делах премии его имени. И лет пять просто присматривалась к тому, что происходит вокруг него, спрашивала у его жены, пишет ли кто-нибудь о нем что-нибудь большое. Сама писать ничего не собиралась: ведь мой предмет — XIX век, Достоевский, пожизненно, навсегда. А потом как-то раз невзначай завела в компьютере файл, который назвала: «А. И. Солженицын. Летопись жизни и творчества». Сначала думала, что для себя — просто потому, что далеко не всё знала о нем и не всё понимала в его жизни. В таблице следовало совместить даты, события и документы, подтверждающие, что данное событие имело место именно в это время.

Когда, года через два, весь доступный мне материал был освоен и зафиксирован, а летопись выстроилась на шестистах компьютерных страницах, обнаружилось огромное число нестыковок, несуразниц и просто нелепиц. Сошлись вместе документы о военном пути писателя, награжденные справки Наркомата обороны СССР, письма с фронта его и к нему — и показания «свидетелей» о том, что он вообще не воевал: то отсиживался в тылу, то находился на оккупированной территории, то служил в гестапо, то попал в плен к немцам и сотрудничал с ними. Я располагала медицинскими данными о его онкологическом заболевании, показаниями рентгенотерапии, воспоминаниями его лечащих врачей из Ташкентского онкологического центра — и тут же пестрели «разоблачения» доброхотов, сообщавших, будто его болезнь — не что иное, как литературный прием, выдумка, необходимая романисту для создания привлекательной биографии, такое себе украшение, что-то вроде бантика.

Передо мной был многосерийный детектив, и надо было распутать, кто и зачем дает противоречивые показания, почему столько несовпадений, где здесь простые недоразумения, а где напраслина и клевета.

И только тогда, когда я перестала справляться с расследованием, я призналась Александру Исаевичу, что занялась сбором материалов о нем и что эти материалы полны противоречий и нестыковок. Поразительно прозвучал его ответ: «На меня врут как на мертвого».

Эта фраза выстрелила во мне: «Как это так? Ведь Вы живы, а значит, обязаны опровергнуть ложь!» Я поняла, что необходимо разгрести это кошмарное вранье. Люди за малейшую чепуху в суды подают, эстрадные певицы бесконечно судятся с продюсерами. А тут на человека столько налгано — и он всё это терпит.

В течение трех лет время от времени я приезжала к нему в Троице-Лыково с диктофоном, задавала вопросы, записывала ответы, дома их переводила с пленки в компьютер. Однажды мы целый день просидели

за картами военного времени — и маленькими цветными флажками разместили весь его путь в Великой Отечественной, с октября 1941-го, когда его, с большими ограничениями по здоровью, призвали наконец на фронт, по февраль 1945-го, когда его арестовали и доставили из Восточной Пруссии в Москву, на Лубянку, в следственную тюрьму.

У меня в руках сосредоточились все необходимые документы, неопровержимые доказательства, неотразимые аргументы, но было не очень понятно, как и когда я смогу пустить их в ход. Ведь при каждой встрече Александр Исаевич говорил мне, что ни в коем случае не хочет прижизненной биографии: «Это не в русской традиции... Только лет через пятьдесят после моей смерти, если меня еще будут читать и я не буду забыт читателями».

На это я отвечала, что на пятьдесят лет не рассчитываю, но всё равно работу продолжу — пусть для неизвестного будущего.

Судьба, однако, не согласилась с моей готовностью работать впрок.

Внезапно, вне зависимости от желаний Солженицына и от моих собственных планов, в самом конце 2005 года писателю позвонили из издательства «Молодая гвардия» и сообщили, что у них стартовала дочерняя серия «Жизни замечательных людей» — «Биография продолжается» — и книга о нем стоит в планах на одной из первых позиций. Поначалу он категорически возражал. Тут ему объяснили, что книга в любом случае выйдет, и, если он отказывается от сотрудничества с издательством, оно само будет искать автора. «Но, может быть, у Вас есть человек, кому Вы доверяете?» — прозвучал вопрос.

И тогда Солженицын назвал меня. Издательство дало на написание книги полтора года, и я ни за что бы не справилась, если бы не «Летопись» и вся предварительная, многолетняя работа впрок. Неизвестное будущее оказалось рядом и потребовало ему соответствовать.

Когда книга «Александр Солженицын» (935 страниц, 120 фотоиллюстраций) вышла, меня призвал генеральный директор издательства В. Ф. Юркин, поздравил с успешным завершением работы и произнес слова, которых можно было ждать всю жизнь, но так и не дожидаться: «Вот теперь мы, наконец, нашли автора для нового Достоевского».

Я едва устояла на ногах. Достоевский и моя давняя книга о его романе «Бесы» привели ко мне Солженицына, а теперь книга о Солженицыне привела ко мне — вернула мне! — Достоевского, дала уникальную возможность написать книгу о нем для «ЖЗЛ». И это несмотря на то, что уже дважды «Достоевский» выходил в этой серии. И мне придется конкурировать не только с ушедшими авторами, но и с теми нынешними, кто охотно и азартно взялся бы за такую работу.

Наверное, я страшно рисковала, когда ответила издателю: «Сейчас не могу. Мой герой жив, и я должна сохранять преданность делу. Ему 89, и я буду в орбите его биографии до самого конца».

«Мы будем ждать», — обещал издатель.

Мой герой, прижизненная книга о нем и я, ее автор, были вместе еще пять месяцев: Александр Исаевич, его семья, люди из его близкого окружения успели ее внимательно прочитать, изучить и, к моему счастью, — принять мою версию. Когда его не стало, издательство попросило меня подготовить новое издание, для классической «ЖЗЛ». С «Достоевским» меня всё еще продолжали ждать.

Готовя переиздание, я убедилась, что внутри книги, если судить по откликам о ней, ничего не надо переделывать, переписывать, исправлять. Надо только дополнить — событиями последних месяцев его жизни, которые были поразительно насыщенными, исполненными глубинного смысла.

Едва посмертное издание «Солженицын» появилось в печати, меня снова вызвал издатель: «Мы Вас ждали. Теперь настала очередь “Достоевского”».

Так случились два года счастья, когда я писала биографическую книгу о Достоевском, и казалось, что мне как литератору нечего больше желать. Круг замкнулся. О ком — после таких гигантов — я могу еще писать? Кто, после них, может заставить работать воображение, ради кого еще стоит уходить в чужие жизни настолько, что почти не замечаешь своей?

Но жизнь причудливее, чем любые наши фантазии на ее счет.

4

Ни одна работа, ни одно занятие не проходят бесследно, а если занимаешься чем-то долго и упорно, тебя начинают с этим чем-то рифмовать: так, уже довольно давно меня стали называть «писателем о Достоевском». И когда в 1997 году французский издатель книг Солженицына Н. А. Струве привез из Парижа бледную машинописную копию под названием «С. И. Фудель. Наследство Достоевского», меня призвали на консультацию. Имя Фуделя мне ничего не говорило, но меня попросили посмотреть работу — к тому моменту она уже три десятилетия циркулировала сначала в самиздате, а потом — в тамиздате. Мне сказали, что автор книги — бывший зэк сталинских лагерей, уже двадцать лет как покойный, не филолог и не литератор; так что вначале я отнеслась к тексту несколько скептически: очередной дилетант повторяет общеизвестные вещи, да еще не владея слогом, не обладая необходимым кругозором.

Но когда всё же прочитала рукопись, то отчетливо поняла, что писал ее человек глубокой и светлой души, проникновенной мысли и искренней веры. Конечно, с точки зрения книгоиздательской культуры, книга была совершенно не готова к печати: нужно было исправить датировки, сверить с оригиналами цитаты и оформить их по принятым стандартам,

создать библиографический аппарат. Ушло на это месяцев десять — еще не было интернетовских поисковых систем, которые могли бы ускорить дело. Тем временем я узнала, что автор в последние годы своей жизни обитал в городе Покров Владимирской области, в Москве бывал только наездами, домашней библиотеки не имел, пользовался случайными источниками, многое цитировал по памяти, так что поздний Фет, например, жил в его сознании как ранний Блок. Пришлось много поработать, чтобы довести текст до нужной кондиции. Книга вышла в свет в издательстве «Русский путь» в 1998 году тиражом 1000 экземпляров, была мгновенно распродана, и это стало началом более длинной истории.

После выхода книги ко мне обратился сын Сергея Иосифовича Николай Сергеевич Фудель и предложил познакомиться с эпистолярным наследием отца. Слова: «Отдам письма только в Ваши руки» — не давали мне шанса отказаться от валяющейся на меня огромной работы. Так ко мне попали послания из мест заключения и ссылки, и началась новая эпопея моего вхождения в мир Фуделя — скорбный, печальный и одновременно исполненный света. Только этот свет, шедший с пожелтевших тетрадных листков, давал силы для работы над грудой рукописного материала.

Стали приходиться и другие документы, которые много лет хранились у разных людей. Так, известный скульптор и доверенный друг семьи Фуделя Д. М. Шаховской на презентации «Наследства Достоевского» в Доме русского зарубежья сказал, что уже четверть века хранит чемодан с бумагами, который Сергей Иосифович отдал ему на хранение. Вскоре этот чемодан был в моих руках, я и составила первую архивную опись того, что в нем было; а там хранились черновые наброски, документы, школьные тетради с написанными от руки главами книг, фотографии. В общем, клад.

Начиная с 2000 года мы вместе со священником Николаем Балашовым приступили к подготовке Собрания сочинений С. И. Фуделя в 3-х томах — оно было завершено к 2005 году. И только после этого началась работа над его биографией — сначала по предложению итальянского издательства (по-итальянски книга вышла в Милане в 2007 году). Позже, в 2010 году, дополненная и расширенная биография Фуделя вышла в Москве. Подготовлено и должно выйти в свет третье издание книги «Наследство Достоевского».

Это был драгоценный опыт. Я своими глазами увидела, что такое письма зэка, отбывающего срок. Им движет осторожность — он думает даже не столько о себе, сколько о тех, кому адресует свои послания. Ведь у членов его семьи, друзей и знакомых компетентные органы могут произвести обыск, найти письма с неволи и сделать оргвыводы. Главные враги автора писем — это даты на них и почтовые штампы на конвертах. С. И. тщательно избегал датировок — ведь при желании можно

было сопоставить даты разрешенных корреспонденций и даты неразрешенных. Письма посылались и официально, и «по левой», с оказиями — так было всегда, во всех местах отбывания наказаний. Задача ээка — не дать ключ к датировке писем. Поэтому большинство писем, которые мне вручил сын Сергея Иосифовича, были без конвертов, ибо конверты — самые опасные свидетели.

Но задача публикатора и комментатора таких писем ровно обратная — по возможности точно установить дату. Я находила ценные подсказки в текстах писем — в ссылках на церковные праздники и дни рождения родных, в упоминаниях газетных статей или радиопередач, в сообщениях о юбилеях известных персон. Есть много зацепок, которые дают верный ключ, — их надо уметь видеть.

Была и еще одна сложность: многие имена обозначались только инициалами. Так, в числе родных и знакомых постоянно упоминалось около восьми женщин, и все обозначались инициалом «М». Мария? Матрена? Марфа? Магдалина? Матильда? Оказалось, что все они — Марии, но все разные. Удалось идентифицировать почти всех и в комментариях указать, кто есть кто.

И, пожалуй, самое трудное: тетрадные листки (иногда это могло быть по 6—8 листов в одном письме) были сложены не вдвое и не вчетверо, а ввосемь, так что получался пухлый комок, который был скреплен большой металлической скрепкой. В таком виде эти комки хранились многие годы, скрепки постепенно ржавели, вокруг них на бумаге появлялись ржавые пятна. Выцветали чернила, не говоря уже про карандаш. Дело казалось почти безнадежным. Но мне был дан чудный совет: если намочить марлю в миске с водой и уксусом в пропорции два к одному, а потом прогладить каждый листок через эту марлю не очень горячим утюгом с двух сторон, просушить на весу, то, во-первых, проявится карандаш, во-вторых, уйдет ржавчина. Я принялась за дело. Как только видела, что листок достиг нужной кондиции, я его ксерокопировала в двух экземплярах, чтобы потом работать именно с ксероксом. Оригиналы же сдала в архив Дома русского зарубежья, где теперь собрано всё наследие С. И. Фуделя. Работа с марлей, утюгом и ксероксом отняла у меня почти два месяца ежедневных многочасовых усилий. В результате были опубликованы и прокомментированы 194 письма.

Что могло вдохновить на такую кропотливую работу? Конечно, прежде всего, сама личность Фуделя, его дар слова, возможность окунуться в одну из тех биографий, о которых в СССР много лет молчали. Я столкнулась с судьбой страдальца, подвижника, который, отбыв 35 лет в ГУЛАГе, взялся за Достоевского — в попытке его изучить и осмыслить.

Кроме того, подстегивало упрямство: начатое дело надо было довести до профессионального уровня. И понимание того, что раз никто до сих

пор этого не сделал, значит, уже и не сделает. А меня преследовали глаза и те самые слова Николая Сергеевича, сына моего героя, которые он сказал, отдавая мне письма отца: «В Ваши руки...».

Не возможность окунуться в катакомбы запретной церковной мысли манила меня. Мною двигало как раз обратное стремление: хотелось вывести выстраданную мысль Фуделя, его взволнованный писательский дар из подполья, сделать его книги достоянием большого культурного сообщества. Ведь когда в конце девяностых я впервые выступила перед моими коллегами-филологами с рассказом о Фуделе и его судьбе, это имя им ничего не говорило, никто не слышал о нем и не читал его книг. Теперь, по прошествии пятнадцати лет, его работы широко цитируются и обсуждаются. Книга «Наследство Достоевского», законченная в 1963 году, которую он писал без всякой надежды на публикацию, стала неотъемлемой частью исследовательской литературы о Достоевском.

Процитирую здесь то из наследия Фуделя, что при первом же знакомстве меня особенно «зацепило». Вот фрагмент его письма от 5 февраля 1956 года из Усмани: «“Идиота” я перечитываю с великой благодарностью автору. Был он несомненно учитель христианства... Читаю, ухожу на работу на весь день и среди дня часто ловлю себя на том, что стараюсь быть лучше, чище, терпеливей, любовней, великодушней, проще, стараюсь подражать бедному Идиоту! Вот она, проповедь христианства, и я вновь услышал ее».²

Или вот отрывок из письма от февраля-марта 1963 года, после завершения книги «Наследство Достоевского»: «Жить становится всё труднее: та смертельная усталость, которая разлита в мире, иногда заливает душу. Очевидно, теперь в этом и есть главный подвиг — сохранять бодрость души, мужество сердца, верность своей вере... У меня такое чувство, что я отдал какой-то душевный долг, совершив и эти поминки любви».³

Работа с текстами С. И. Фуделя и над его биографией оказалась не в стороне от моего магистрального интереса; напротив, она вернула меня в самую сердцевину «достоевских» тем и смыслов.

Известно, что Древний Рим был центром всех торговых путей Средиземноморья. Дороги из столицы расходились по империи как спицы колеса, и, значит, каждая из них должна была привести путника обратно.

Так и Достоевский: в моем представлении все литературные дороги, как бы причудливо и ухабисто они ни выглядели, ведут к нему. Отечественная литература отчетливо достоевскоцентрична, порой даже помимо своей воли и желания.

² Фудель С. И. Собрание сочинений: В 3 т. / Сост. и комм. прот. Н. В. Балашова и Л. И. Сараскиной. М., 2001. Т. 1. С. 441.

³ Там же. С. 473.